

ФИЛОЛОГИЯ

**ЖИЗНТЕКСТ И МИФОЛОГИЗАТОРСТВО:
АНАЛИЗ РАССКАЗА В.Т. ШАЛАМОВА
«ЖИТИЕ ИНЖЕНЕРА КИПРЕЕВА»**

*Жаравина Лариса Владимировна,
доктор филологических наук, профессор
(г. Волгоград, Россия)*

*Зинченко Екатерина Егоровна
кандидат филологических наук,
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
(г. Волгоград, Россия)*

Аннотация. В статье анализируется один из наиболее известных рассказов В.Т. Шаламова в контексте оппозиции *мифотекст/жизнетекст*. Характеризуется художественное мышление автора в аспекте соотношения «растительных» мифологем с их проекцией на проблемы литературной антропологии. Раскрывается внутренний смысл преобразования реальной ситуации в художественный образ амбивалентного плана. Привлечение воспоминаний о прототипе главного героя рассказа раскрывает условность процесса мифологизации, преодолевающей ограниченность миметических представлений о литературе.

Ключевые слова: *мифологема, художественная достоверность, образ-символ, трансформация реальности.*

**GETNETTEXT AND MYTHOLOGIZATION: ANALYSIS OF
SHALAMOV'S STORY «"The LIFE OF ENGINEER KIPREEV»**

Abstract. The article analyzes one of the most famous stories V.T. Shalamov in the aspect of the opposition *metatext / getnettext*. Characterized by artistic thinking of the author in the aspect ratio of "vegetable" myths with their projection on the problems of literary anthropology. Reveals the inner meaning of the transformation of the real situation in the artistic image of the ambivalent plan. The attraction memories of the prototype of the hero of the story reveals the arbitrariness

of the process mythologization, overcoming the limitations of mimetic ideas about literature.

Key words: myth, artistic integrity, image, symbol, transformation of reality.

Одну из задач литературы XX века В.Т. Шаламов видел в том, чтобы восстановить художественную преемственность, связав концы разрубленной «ариадниной нити <...>» [7: 6, 412]. Связующим началом явились мифо-архетипические мотивно-образные комплексы, важнейшей составляющей которых стала растительная символика. Так, «очень серьезное дерево» – лиственницу – писатель считал «деревом Колымы, деревом концлагерей». Один лишь «слабый настойчивый запах» ее веточки, поставленный в банку с хлорированной московской водой, был способен пробудить память о «миллионах трупов – людей, погибших на Колыме». Не случайно ветка лиственницы воскресла именно в той квартире, хозяева которой удочерили девочку умершей в больнице матери-заклученной, словно выполняя «какой-то личный долг» [7: 2, 278 – 280].

Так нехитрый аксессуар древнейшей магии в контексте современности возродил древнейшие ассоциативно-мифологические представления: *ветвь – весть*, т.е. слово, звук, голос и т.д. – те вещественные и невещественные феномены, которые проецируются на миф о Золотой ветви [4, 72 – 74].

Было в тайге и другое, «особое дерево», которое можно назвать растительным «двойником» человека. Это стланик, «дальний родственник кедра, кедрач», стволы кустов которого напоминали человеческие руки. Но дело не во внешнем сходстве: стланик неприхотлив; он, как и колымский лагерник, всеми отростками упорно цепляется за жизнь «и растет, уцепившись корнями за щели в камнях горного склона <...>». Но, как и человек, стланик

беззащитен перед обманом и унижением: если рядом с согнувшимся по-зимнему кустом развести костер, стланник встанет, обрадовавшись ложной вести о приходе весны. *«Костер погаснет – и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет на старое место. И его занесет снегом»* [7: 1, 180].

Можно выделить и еще один травянистый «близнец» человека. Причем, человека непростого, как говорится, «себе на уме», могущего одновременно выступать в качестве друга и врага, т.е. символизирующего амбивалентное начало. Это кипрей. Именно так автор назвал стихотворный цикл, вошедший в «Колымские тетради», и написал несколько стихотворений, обыгрывающих свойства растения. Вот одно из них, созданное в «постколымский» период с целью *«понять суть Дальнего Севера, немного отступая по времени»* [7: 3, 480]. Оно звучит так:

«Огонь – кипрей! Огонь – заря! // Костер, внесенный в дом. // И только солнце января // Не смеет быть огнем. // Оно такое же, как встарь, // Внесенное в тайгу, // Оно похоже на янтарь, // Расплавленный в снегу <...>» [7: 3, 358].

Кипрей – «огонь» по многим причинам. Во-первых, растение выделяется высоким прямым стеблем и ярко-розовыми факелами-цветами. Во-вторых, в народе его называют *иван-чаем*, который, будучи растением медоносным, наполняет застуженные душу и тело медовой сладостью и теплом. Но главная черта кипрея заключается в том, что он «чует» лесные пожары и поселяется на выжженной земле, возрождая плодородный слой почвы. Об этом написано в другом стихотворении:

«Там был пожар, там был огонь и дым. // Умерший лес остался молодым. // Ища следы исчезнувших зверей, // В лиловый пепел вцепится кипрей. // И знаки

*жизни, что под цвет огня, // Раскинет у обугленного пня –
// И воскресит таежную траву, // Зверей, и птиц, и
шумную листву» [7: 3, 373].*

Однако эти качества, в высшей степени позитивные, таят опасность противоположного свойства. Будучи растением травянистым, кипрей не обладает, естественно, ни негнибачимым стволом лиственницы, ни ползучей жизнестойкостью стланика. В отличие от лесных собратьев, он легко поддается механическому воздействию: как известно, из его стеблей выют веревки. Напомним, что и библейская традиция предлагает двусмысленные коннотации травы и всего, что с ней связано. Сравним: «<...> вот, Я дал вам <...> всякое дерево», – провозгласил Господь (Быт. 1, 29); «Все деревья в поле будут рукоплескать вам» (Ис. 55, 12); «<...> да ликуют вместе все деревья дубравные» (Пс. 95, 12). Контексты с упоминанием травы иного рода: «Дни человека, как трава; как цвет полевой, так он цветет» (Пс. 102, 15); «<...> нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки» (Пс. 91, 8); «<...> всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал <...>» (1 Пет. 1, 24 – 25) и т.п.

Но главная проблема в том, что, расцветая яростным пышным цветом на месте пожарищ, кипрей способен своим всепожирающим огнем «скрыть в траве, в листве любое человеческое дело – хорошее и дурное», ибо «травы еще более забывчивы, чем человек» [7: 1, 399].

Именно об этом пишет Шаламов в рассказе «Перчатка», рисуя постлагерную Колыму, где уже ничего не напоминает о былом: «Документы нашего прошлого уничтожены, караульные вышки спилены, бараки сравнены с землей, ржавая колючая проволока смотана и увезена куда-то в другое место. На развалинах

Серпантинки процвел иван-чай – цветок пожара, забвения, враг архивов и человеческой памяти» [7: 2, 283].

На наш взгляд, этико-культурологическое значение древесных реалий проявляется не только в природоописаниях Шаламова, но и является формой кодирования интенций широкого поля действия, в том числе относящихся к антропосфере, что переводит художественный образ из бытового и субъективно-психологического планов в мифолого-символический.

Так, лиственница проецируется на *Arbos Mundi*, его многочисленные литературные модификации до уподобления языковых моделей древовидным конструкциям в трансформационно-генеративной грамматике Н. Хомского («лингвистическое дерево»). Более того, Шаламов отождествлял ее с библейским деревом познания добра и зла, заметив, что именно она, «не яблоня, не берёзка», стояла «в райском саду до изгнания Адама и Евы из рая» [7: 2, 279]. Переноса мифологему лиственницы в область художественной характерологии, прежде всего, выделим в «Колымских рассказах» образы, выстроенные по принципу духовной вертикали. К таковым, бесспорно, относится Крист, герой явно автобиографического плана, чья поведенческая модель непосредственно соотносится с фактами из жизни самого писателя, его этической установкой. «Горжусь, что решил в самом начале, еще в 1937 году, что никогда не буду бригадиром, если моя воля может привести к смерти другого человека <...>» [7: 4, 626], – подытоживал свой лагерный опыт Шаламов. В итоге «метафора вертикальной структуры сознания» в конечном счете «согласуется с традиционной вертикальной метафорой религиозного дискурса» [6, 52]. Можно сказать, что Крист – человек-лиственница, который, духовно возвышаясь, принимает на себя удары судьбы в соответствии с

заповедями христианского персонализма.

Однако лагерная действительность выдвигала большей частью ментально-характерологические структуры, которые можно назвать ризоморфными. В среде, где отсутствует ценностная доминанта-вертикаль, человек раздерган, расстроен, духовно дезорганизован, что позволяет инстинктам расшатывать его внутреннее «я». Тем не менее, находясь в состоянии перманентной переходности между бытием и небытием, он осваивает *«приемы захвата, укуса, перелома»* [7: 1, 143], стремясь, прежде всего, выжить.

Это не *герой-лиственница*, но *персонаж-стланик*, деструктурированный антропологический тип [3, 73 – 92].

Наконец, находясь в толпе, т.е. особой манипулятивной зоне, лагерник легко становится объектом спекулятивных маневров начальства: из него, как из кипрея, можно сколько угодно «вить веревку», добиваясь абсолютного обезличивания.

На наш взгляд, все эти три типа, символизируемые растительными мифологемами, в разной степени реализованы в одном из лучших рассказов Шаламова с «говорящим» названием: «Житие инженера Кипреева».

Бывший инженер-физик Харьковского физического института, в котором раньше всех стали разрабатываться проблемы атомной промышленности, знавший себе цену и твердо веривший в торжество справедливости, был уверен, что его талант инженера будет отмечен по достоинству, что он *«найдет путь к досрочному освобождению, сумеет вырваться на волю, на материк»* [7: 2, 154]. И ситуация создавалась в высшей степени благоприятная, т.к. Кипреев сумел наладить то, что имело общегосударственное значение: создать цех по ремонту вышедших из строя электроламп – главного дефицита Колымы. *«Результат был блестящим <...> Государство*

получило огромную выгоду, военную выгоду, золотую выгоду» [7: 2, 157].

Казалось бы, есть резон облегчить судьбу талантливого инженера. И начальство действительно, пошло навстречу, решив наградить изобретателя не двойным зачетом рабочих дней, как положено, даже не обещанием более скорого освобождения, а поношенным костюмом, присланным по лендлизу. Инженер Кипреев, казалось, стерпел обиду, но, выйдя к столу, *«ярко освещенному лампами, – его лампами»*, выговорил громко и четко: *«Американских обносков я носить не буду» [7: 2, 158]*, за что получил восемь лет дополнительного срока.

Но и на этот раз неожиданный и несправедливый поворот судьбы был встречен достойно. Ясно, что по своим мировоззренческим установкам это был характер с твердым «древесным» стволом, на что, в частности, намекает фонетическая соотнесенность фамилии героя с кипарисом, о котором в Книге пророка Осии обещано: *«Я буду как зеленеющий кипарис; от Меня будут тебе плоды» (Ос. 14, 9).*

Но речь идет все-таки не об инженере Кипарисове, а об инженере Кипрееве. Да, то, что было мечтой многих (теплые, хотя и поношенные американские вещи), для героя стало оскорблением, сопряженным с величайшей ложью. Восстановленная им лампочка, освещавшая рабский труд колымчан, как огонь костра, второпях разожженный промерзшим человеком, но посуливший стланику наступление тепла, светили одним и тем же обманным светом. Но когда костер погасал (как помним), разочарованный стланик, *«плача от обиды»*, ложился на старое место.

Так и Кипреев, приближаясь к *человеку-стланику*, после освобождения вновь вернулся на Север. Не удалось подняться ни кустарнику, чтобы распрямить свои

лохматые лапы-ветви, ни персонажу, пытавшемуся обрести иное бытие. Законы Севера – и природные и человеческие – оказались неумолимы. Формируется закономерная концептуальная цепочка: обманчив свет костра, пообещавший стланнику весеннее тепло – обманчив свет инженерной мысли в условиях рабского труда – сама же электрическая лампочка бессильна заменить редкое на Колыме солнце.

Однако если продолжить параллель между растительным и человеческим мирами, то окажется, что кедровый кустарник как хвойный «двойник» человека по-житейски умен и мудр. Его мудрость – мудрость самой жизни; она онтологична. Смирясь с погасшим костром и вновь ложась на старое место, кедрач хорошо знает, что придет весна, и корявые стволы-ветви вновь воспрянут и поднимутся вверх, к истинному солнцу, тогда и раскроется для жизни и радости его истосковавшаяся «душа». Однако Кипреев вернулся на Север вовсе не для того, чтобы продолжить научные изыскания, а просто, чтобы дожить до пенсии.

Кстати, есть в рассказе и еще один мотив, позволяющий увидеть житие инженера Кипреева в неоднозначном ракурсе. Это мотив зеркала. Автор, по его признанию, долго хранил обломок стекла, *«как будто поверхность воды замутилась, и река осталась мутной и грязной навсегда <...>»* [7: 2, 159]. Это зеркало, подаренное тем же Кипреевым, тоже *«след»* его научного опыта, попытка наладить работу рентгеновского кабинета лагерной больницы. Более того, талантливый физик должен был обучить делу рентгенотехники доносчика из уголовников. И если бы тот научился, инженера послали бы в номерной лагерь для рецидивистов. Впрочем, как отмечает Шаламов, *«Кипрееву было все равно»* [7: 2, 160].

Тем не менее, вопреки коварствам судьбы, персонажу

выпал редкий шанс отомстить за все злоключения, вернуть себе свое настоящее место уже в новой жизни, о чем рассказывает автор, повидавшись со своим героем через 15 лет. К сожалению, встреча обернулась полнейшим авторским разочарованием. Позиция Кипреева обескураживала: *« – Ученым я уже не буду. Рядовой инженер – так. Вернуться бесправным, отставшим – все мои сослуживцы, сокурсники давно лауреаты. – Что за чушь. – Нет, не чушь. Мне легче дышится на Севере. До пенсии будет легче дышаться»* [7: 2, 165].

«Сердце мое поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой», – поется в одном из псалмов (Пс.101, 5). Кипреев, естественно, не забывал есть хлеб, когда он у него был, но сердце персонажа действительно иссохло, пораженное Колымой. Разумеется, безнравственно упрекать персонажа в малодушии, наивной вере в справедливость, где ее не могло быть по определению, в необходимости контактировать с доносчиками, уголовниками и т.п. Но в главном упрекнуть можно и нужно: в гордыне, не позволившей вернуться к прежнему творчеству. Зависть к более удачливым сокурсникам и сослуживцам заставила зарыть талант в глубь земли, а самое житие инженера Кипреева обернулось в конце концов *антижитием*.

И в этом плане поэтический образ кипрея, выделявшегося огненными цветами на месте пожарищ, но поддающегося технической переработке, может быть трактован буквально: судьбе не только удалось сломать достойного человека, но и свить из него веревки, накрепко привязав к обывательским представлениям. Так реализовалась вторая часть евангельского изречения: *«будут последние первыми, а первые последними»* (Мф. 20, 14).

Поистине, инженер Кипреев оказался в итоге

кипреем. Даже стланик, расплзшийся своим корешками-щупальцами по поверхности камня, в своем упорстве достойнее его. О лиственнице же лучше Шаламова не скажешь: напоминая «о превратностях жизни», о физических и нравственных муках, она напоминает и «о верности и твердости, о душевной стойкости <...>» [7: 2, 278]. Но кипрей-«огонь» сжег в памяти персонажа боль перенесенных испытаний. Ни стланик, ни тем более лиственница своему природному «предназначению» не изменяли. Кипрей тоже в принципе не изменил, но он, как мы говорили, амбивалентен.

Ввод в сферу литературной характерологии «растительных» измерений – не просто художественный прием, но выход за «социально-исторические и пространственно-временные рамки» [5, 295], что наделяет характерологические параметры обобщенным символическо-мифологическим смыслом.

На основе проведенных сопоставлений рассказ Шаламова резонно характеризовать в рамках *мифотекста*. Но в действительности был еще и *жизнетекст*, который существенно отличается и в деталях, и в главном.

Дело в том, что у шаламовского героя был прототип: Георгий Георгиевич Демидов. Подававший большие надежды физик, научный сотрудник лаборатории Л. Д. Ландау, он в 1938 г. был арестован и осужден на 5-летний срок заключения, который предстояло отбывать на Колыме. Им действительно был возглавлен процесс по восстановлению вышедших из строя электролампочек, столь нужных ГУЛАГу. И, как отмечено в рассказе, вместо заслуженного досрочного освобождения в качестве «награды» изобретатель должен был получить американскую одежду по лендлизу. За демонстративный отказ, сопровождаемый воспроизведенной выше фразой, получил дополнительных восемь лет. Все эти факты,

отмеченные Шаламовым, соответствуют миметическим представлениям о природе литературы.

Более того, границы мимезиса оказались крайне условными. С Демидовым Шаламов познакомился и подружился в Центральной больнице для заключенных (пос. Дебин), куда инженер поступил с дистрофией четвертой степени и где был оставлен работать рентгенотехником. В этот период автором вышеназванного рассказа, исполнявшим обязанности фельдшера, было написано стихотворение, посвященное другу:

«Ток включен. Дирижер-невидимка садится за пультом // Перед облаком желтым с прокладкой свинца // На вертящемся стуле, землей управляя как будто, // И разглядывает будущего мертвеца» [8].

Однако в дальнейшем судьба развела двух незаурядных людей: Демидова ждал новый этап, и вплоть до 1965 г. Шаламов считал его погибшим. Поэтому в воспоминаниях 1962 г. писал: *«Что же касается моих многих наблюдений, то самым умным и самым достойным человеком, встреченным мной в жизни, был некто Демидов, харьковский физик»* [7: 4, 356]. На самом деле Г.Г. Демидов в качестве административно-ссылного работал на севере Республики Коми, затем вплоть до пенсии занимал пост инженера-конструктора на Ухтинском механическом заводе. Как видим, ни о каком возвращении на Колыму речь не идет.

Но во время одной из его командировок в Москву состоялась встреча с автором «Колымских рассказов», положившая начало переписке. *«<...> Наш случай пополнил архив доказательств верности поговорки о разнице между человеком и горой. Правда, мы еще не сошлись, но, как кажется, надежно вошли в сферу взаимного тяготения»*, – с такими словами Демидов обратился в первом письме к Шаламову [7: 6, 395].

Оказалось, что и Г.Г. Демидов пишет «лагерную» прозу, которая, конечно, не могла попасть в печать и, распространяясь нелегально, только с 2008 г. стала доступна широкой читательской аудитории.

Но, к сожалению, именно писательство явилось причиной «разрыва» отношений, что отмечает дочь Демидова Валентина Георгиевна: «<...> это были два очень сильных характера, и у каждого было своё мнение о том, как писать и что писать <...> Как я понимаю, Шаламов, в силу своего характера, не нашёл с ним верного тона». И все же, подчеркивает В.Г. Демидова, «авторитет Шаламова в литературе был для него безусловным, абсолютным» [2, 63 – 65].

Данные факты важны, по крайней мере, по двум причинам: во-первых, как дополнительный комментарий к шаламовскому произведению, восстанавливающий историческую и человеческую справедливость, ибо в реальности Демидов (Кипреев) был и остался *человеком-лиственницей*, ничего не забывшим и не простившим. «*Будущему на проклятое прошлое...*» – такие его слова выбрала дочь для определения позиции отца.

Но и сказанного недостаточно, поскольку, в силу уникальности своей личности, Демидов внес в «колымскую» тему некоторые новые нюансы. Выше говорилось, что в психологическом плане Шаламовым наиболее разработаны два типа личности, олицетворяемые мифологизированными образами лиственницы и стланика. В рассказе «Дубарь», что на языке лагерников означало покойника (кстати, это слово тоже «растительного» происхождения: производное от «дуб»), Демидов показал именно ту особенность «*каторжанской психики*», которую в какой-то мере символизировал травянистый кипрей: способность существовать в сомнамбулическом состоянии. Более «мягкие» условия работы (у Демидова речь идет о

лагере, обслуживающем сельское и рыболовецкое хозяйство), видимо, породили этот тип *человека-травы*. Конечно, иногда хотелось «завыть и боднуть головой ближайший лиственничный ствол», но «*свинцовая притупленность чувств и мыслей*» оказывалась сильнее [1]. Прожитые дни, говоря словами Псалма, были, «как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает» (Пс. 89, 6). И только сильнейшее впечатление, которое испытал главный герой, хороня мертвого младенца, прожившего четыре часа жизни, породило какое-то сложное чувство, состоящее «*из ощущения вины перед мёртвым ребёнком и чем-то ещё, давно уже не испытанным, но бесконечно тёплым, трогательным и нежным*» [1]. Это была «мягкая и светлая печаль», поколебавшая устойчивое мифопоэтическое отождествление *сон – смерть*. «И ещё какое-то высокое чувство, которое, наверно, было ближе всего к чувству благодарности. Благодарности мёртвому ребёнку за напоминание о Жизни и как бы утверждение её в самой смерти» [1].

Конечно же, по-своему уникальный рассказ Г.Г. Демидова, как и все его творчество, заслуживают самостоятельного глубокого и скрупулезного анализа. Но общий вывод очевиден: мифотекст и житнетекст, не отрицая диалога, часто вступают в отношения когерентности, взаимодополняя и взаимооспаривая друг друга.

Литература

1. Демидов Г.Г. Дубарь. URL: [//https://shalamov.ru/context/14/](https://shalamov.ru/context/14/). Обращение от 26. 01. 2018.
2. Демидова В. Г. «Будущему на проклятое прошлое...» // Шаламовский сборник: Вып. 4 / сост. В.В. Есипов, С.М. Соловьев.

М., 2011. – С. 61 – 80.

3. Жаравина Л.В. «И верю, был я в будущем». Варлам Шаламов в перспективе XXI века: Монография. М., 2014.

4. Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. М., 1996.

5. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976.

6. Хоружий С.С. Человек и его три удела. Новая антропология на базе древнего опыта // Вопросы философии. – 2003. – № 1. – С. 38 – 62.

7. Шаламов В.Т. Собрание сочинений: в 6 т. М., 2004–2005.

8. Шаламов В.Т. Ночью (В рентгенкабинете). URL: // <https://shalamov.ru/events/84/>. Обращение от 25. 01. 2018.